

Светлана Мусиенко

Гродно в дневниках Зофы Налковской

Независимо от национальности, условий жизни, вероисповедания, писателей гродненской темы всегда отличало обостренное чувство красоты этой земли и удивительная сопричастность с судьбами своих героев. Гродненщина – издавна край многонациональный, поэтому творчество каждого деятеля культуры, хотя и опиралось на национальные традиции своего народа, обогащалось эстетическим опытом соседей. Всех писателей объединяло очарование природой, восхищение гродненскими памятниками архитектуры и стремление понять живущих на этой земле людей. Поэтому произведения о Гродно, создававшиеся на протяжении веков представителями различных культур, стали одинаково близкими всем народам, населяющим этот край. В них, прежде всего, проявилась любовь к здешней земле и людям, понимание их души, жизни, многовековой истории, переплетенности человеческих судеб и культур.

В науке о литературе эти тенденции подчеркивались неоднократно применительно к творчеству Мицкевича, Ожешко, Богдановича, Богушевича, а позднее Налковской, Юревича, Жакевича, Быкова и др. В этой галерее особое место занимает Налковская. Она приехала в Гродно не по собственному желанию, а по месту службы мужа подполковника Яна Юра-Гожеховского, получившего назначение в полевую жандармерию пограничных войск восточных окраин Польши. Супруги прожили здесь с ноября 1922 по январь 1927 г. Собственно уехала из Гродно только Налковская из-за разладов в семейной жизни.

Гродно в начале 20-х гг. был сравнительно небольшим провинциальным городом с почти 27-тысячным населением различных национальностей, различного социально-имущественного уровня и различной религиозной принадлежности. На приеманских землях с давних пор самым причудливым образом переплетались этнокультурные черты их жителей, создавая своеобразный конгломерат языков, культур, обычаев, которых местный люд определил очень емким словом «тутейшие», в польской версии «кресовяки».

Город расположенный по обеим берегам величественной реки Неман. В нем сохранились следы бурной истории: замки, построенные польскими

королями, и роскошные дворцы аристократов, и пышные безвкусные купеческие дома, дворянское и офицерское собрания, лавочки, гимназии и серые, низкие домишки бедняков. Культовые здания города: православные и католические церкви (их было 12), синагоги (около 50), мечеть, кирха – хотя и косвенно, но свидетельствуют о многонациональном составе этого города.

К сожалению, Гродно украшали не только архитектурные строения. В самом его центре к изумительной красоты католическому кафедральному собору – жемчужине архитектуры XVI столетия, примыкала большая неприступная тюрьма. Этой тюрьме уже почти 200 лет (построена в 1818 г.) и через её застенки при всех мироустройствах и режимах проходили люди и с различной степенью вины и невиновные, представляющие различные национальности, сословия, возрастные категории, различные политические и нравственные убеждения. Были среди них и известные польские и белорусские писатели. П. Пестрак, Г. Герлинг-Грудзиньский, Б. Тарашкевич. Последний в её застенках сделал первый перевод на белорусский язык поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш».

В Гродно начался принципиально новый период в жизни и творчестве Зофи Налковской. Накануне переезда на крессы она сделала в дневнике знаменательную запись: «месяц тому назад я вышла замуж за Яна Гожеховского... В трудах и заботах я снова создаю семью и, видимо, ненадолго на этой прекрасной и чужой [курсив мой: С. М.] для меня земле»¹.

Первые впечатления о Гродно были далеко не радужными: известная писательница, первая дама польской литературы, оказалась в полном интеллектуальном одиночестве и чуждой ей атмосфере. Прибавляла грусти и природа: ммурое небо, серые низкие облака, темные, низкие, полуразрушенные дома, пустынные узкие улочки. Свою грусть можно было поверить только дневнику.

«Grodno jest daleko brzydsze, niż Wilno. Jan jest gorszy niż w roku zeszłym, a ja jestem o rok starsza... Natura tutejsza jest piękna, ale znana mi jedynie z wycieczek końmi, a przeto mniej bliska sercu. Dzieli mnie od niej zawsze droga po złym bruku miasta... które jest ślicznie położone, zabudowane w sposób okropny, brudne, cuchnące, obdrapane, zszpecowane przez ludzi»².

Отношение писательницы к городу изменится. Гродно медленно, но верно будет завоевывать её сердце и постепенно открывать тайны своей неповторимой красоты. Налковская познает очарование наднеманской земли, хотя так и не избавится от чувства одиночества, и переживет большое разочарование в любви, которое приведет к разрыву с мужем.

В самом начале пребывания в Гродно она запишет в дневнике: «Czasami uświadamiam sobie z osłupieniem, że na tę jesień życia znalazłem się nie wiadomo po co aż tutaj, daleko od całego minionego życia, że przyszła tu za człowiekiem, którego miłość dla mnie jest jakimś strasznym nieporozumieniem»³.

В этот период жизни дневник был для писательницы единственной формой откровения и единственной возможностью осознания своей

¹ Z. Nałkowska, *Dzienniki 1918–1929*, Warszawa 1980, s. 79.

² Ibidem, s. 103.

³ Ibidem, s. 79.

жизненной ситуации. Однако дневник деятеля культуры является и своеобразной формой творческого самовыражения, своеобразным лиро-эпическим жанром, возможно, разновидностью романа о времени и о себе, романа, в котором автор одновременно является повествователем и героем. Следует отметить, что дневник деятеля культуры является еще и фактом этой культуры, поскольку в нем воплощены принципы, особенности, идеи, стиль, а порой и содержание творчества. Налковская впоследствии назовет дневник мотыльком, задержанном в полете. Дневник создается «вдоль жизни» автора и «вдоль» течения времени и событий его эпохи. Дневники Налковской охватывают период в 58 лет (с 1896 по 1954 год), писательница вела его с 12 лет и до последних дней жизни. В них отражены не только события её собственной жизни, но и важнейшие моменты национальной и мировой истории, в гуще которых оказывался и каждый человек, и целые народы и государства, и даже континенты, да и весь земной шар. Революции, мировые войны, смены социально-политических укладов в Польше и многих европейских странах, проблемы развития литературы, и самые сокровенные стороны собственной жизни – всё это стало содержанием растянувшимся на девять книг своеобразного и сокровенно-лирического, и философско-этического повествования о жизни мира и человека в первой половине XX века. Следует отметить, что с 1922 года и до конца дневниковых записей в них присутствует Гродно. Записи о Гродно можно разделить на две части: отражение непосредственно переписываемых и наблюдаемых писательницей событий охватывающих период пребывания её в Гродно (1922–1927 и несколько дней октября 1929 года) и воспоминания о Гродно, рассеянные в дневниках 1928–1954 гг.

Дневник Налковской выполняет несколько важных функций. Он является и эмоционально-художественным документом эпохи, и своеобразным источником творчества, помогающим сохранить в памяти и сердце автора реальные события и прототипов героев, трансформирующихся в последствии в романский материал. Пять лет пребывания Налковской в Гродно оказались столь значимыми, что заполнили всё её творчество, от «Романа Терезы Геннерт» до «Недоброй любви», «Дня его возвращения», «Стен мира», «Границы» и «Узлов жизни». Гродно посвящено и замечательное эссе под тем же названием, в котором писательница проявила и удивительные знания истории архитектурных памятников города, и понимание сложности жизни населяющих эту землю людей. В дневниках о Гродно можно выделить несколько наиболее значимых сюжетных узлов: люди, природа и городские пейзажи; тюрьма, творчество, семейные перипетии писательницы и памятник Элизе Ожешко.

В пределах короткой статьи трудно показать проблемно-художественное, философское и психологическое богатство дневника Налковской, даже только гродненского периода. По сути, он являет собой увлекательный роман, но с совершенно необычным содержанием, героями которого являются и люди, живущие в старинном городе над Неманом, и сам город с его таинственным воздействием на этих людей и в том числе на саму писательницу. Дневник гродненского периода напоминает не витраж, а калейдоскоп с постоянно

изменяющимися картинами жизни и природы, архитектурными строениями, силуэтами и портретными зарисовками людей, то спокойно-серебристой, то серо-бурлящей рекой, лесами, лугами, величественными королевскими замками и тесными камерами тюрьмы. Мир дневника яркое, противоречивое и многообразное, как сама жизнь, которую хочет понять одинокая женщина и известная писательница Налковская. В 20-е гг. она не думала о возможности публикации своих записей, они служили ей лишь исходным материалом для творчества в будущем. Поэтому дневник представляет отражение *естественного* хода событий и натурального течения времени. Это сложное движение мира пропущено через сердце и душу писательницы, которая его познает, анализирует и превращает в художественную реальность.

«Jeszcze tu jestem, – читаем в дневнике. – Mieszkam. Wiele się zmieniło. Przyzwyczaiałam się do swego mieszkania, pewne momenty tutejszego życia już lubię. Stosunek do niektórych tutejszych ludzi wyrósł ponad moje oczekiwania»⁴.

Далее следует целая галерея знакомых, друзей Налковской, представлявших в 20-е гг. гродненскую интеллектуальную элиту. Среди них и известные в будущем писательницы Ванда Мельцер-Рутковская, Тереза Сапега, Надежда О'Бриен де Лаци (Друцкая – по фамилии второго мужа), и верхушки военной (генерал Сапега), тюремной (Кобылецкий) и городской (О'Бриен де Лаци) властей, и рядовые жители, и узники местной тюрьмы. Многие из них станут прототипами будущих её произведений.

Не случайно первое эмоциональное потрясение Налковская испытала при виде домика, в котором жила Элиза Ожешко.

«Koło drewnianego domku Orzeszkowej... – отмечает писательница, – przejeżdżałam ze smutnym wzruszeniem. Dziwiw się, że właśnie tutaj tak chciała być do końca, że to miasto było jej ojczyzną»⁵.

Гродно не было родиной Налковской, как для Ожешко, но и она (Налковская) поняла привязанность своей великой предшественницы к этой земле. Налковская увидела здешнюю природу будто глазами Элизы Ожешко.

«I dosyć wyjechać kilka kilometrów za miasto, – отмечает Налковская, – I ze wzniesionej szosy rozejrzeć się po tej prześlicznej ziemi, by zrozumieć cały jej powab. By zrozumieć, że nie jest łatwo od niej odejść gdzie indziej»⁶.

Уместно сравнить эмоционально опосредованное описание душевного состояния писательницы, вызванного образом и творчеством Ожешко с непосредственным восприятием уже самой Налковской:

«Maja tego [1924 год. Уточнение мое: С. М.] doznałam znacznie pomyślniej niż zeszłoroczno. Naprzód w Warszawie pęknięcie pierwszych pąków i żółtą zielenią Łazienek... A zaraz potem tutaj – cudowne kilkadniowe wyjazdy majowe. Gaj zwany Sekret, owiany dymami zieleni, zbieranie fiołków. W lesie Kazimierówce na mokradelku z kaczeńcami i w oszalałym śpiewie słowików oczekiwanie aż do zmierzchu na ciąg słońek, z których widziałam jedną. Wysoki wszelkim lasem okryty brzeg Niemna w Kąkołach – miejsce cudne i nieurodzajne... I wreszcie wizyta

⁴ Ibidem, s. 109.

⁵ Ibidem, s. 103.

⁶ Z. Nałkowska, *Widzenie bliskie i dalekie*, Warszawa 1957, s. 138.

w Kiełbasinie. Wszystko z Janem i znów pod jego znakiem... Dom pełen kwiatów. – Nie mogę pisać, a muszę. Jest mi dobrze...»⁷.

Если природа и памятники архитектуры Гродно вызывали восхищение, то в семейной жизни Налковская разочаровывалась всё больше. Слишком разными были изящная дама литературы Налковская и грубый и беспардонный солдафон, коим оказался Гожеховский. Оторвав жену от привычного ей круга интеллектуалов и близких родственников, он попросту не давал ей ни писать, ни заниматься общественной деятельностью. Налковская была человеком ранимым, чутким, добрым и, главное, внутренне свободным. И это, конечно, не устраивало полковника. Он старался поработить жену духовно. В этом плане интерес представляет запись Налковской в дневнике от 04. 04. 1924 г.: «Poszarpana... oddarciem od matki i mego środowiska w Warszawie, przerzucona tutaj pod ciśnienie atmosfery obcej, w pętach tej niesłychanie silnej, chociaż dublowanej histerią indywidualności, ściśnięta obcęgami jego uporu, terroryzowana wybuchami kaprysów i scen». Эгоистичные выпады Гожеховского она терпела из-за любви к нему, хотя и понимала, что эта любовь не имеет будущего и была хотя и верной, но... «okrutną», «zawistą», «nic nie chcącą zrozumieć»⁸.

Из-за авторитарного характера Гожеховского не только разрушалась семья, но он влиял и на окружающих людей. Автору статьи приходилось беседовать с соратником Налковской по «Патронату» гродненским адвокатом Станиславом Земаком, который довольно часто становился свидетелем грубых выпадов полковника по отношению к жене. Её жизнь становилась нестерпимой. И влюбленный в писательницу Земак предложил ей бросить мужа и уехать с ним. На что получил ответ: «Вы видите, как мне тяжело, а тут Вы ещё со своей любовью».

Под таким психологическим прессингом ей приходилось заниматься творчеством, большой и значимой общественной деятельностью, делать визиты и принимать гостей, даже таких значимых как генерал Сапега и Юзеф Пилсудский. Гожеховский был его единомышленником и другом. Дважды Пилсудский даже останавливался у Гожеховских во время своих визитов в Гродно осенью 1925 г. Обе встречи Налковская описала в дневнике. Отдавая дань политической гениальности Пилсудского, она отметила и его политическое актерство, умение удивлять людей неожиданными решениями. Пилсудский был прекрасным знатоком литературы и это восхитило Налковскую.

«To, co uczuвам, bywa podziwem, ale nie jest nigdy sympatią. Jest zbyt inny. Nie lubi Dostojewskiego, czyta natomiast chętnie Sienkiewicza, nie lubi nawet Żeromskiego poza *Popiołami* (więc otóż!). Ale moment, kiedy mówi o Słowackim i zwłaszcza Wyspiańskim był najwyższego intelektualnego gatunku, był tą czystą doskonałą rozkoszą porozumienia, którą nade wszystko cenię»⁹.

Разговоры были и о политике, и о трудной для Польши ситуации. Писательница подчеркивает их доверительность и задушевность, хотя проблема касалась будущего всей страны.

⁷ Z. Nałkowska, *Dzienniki 1918–1929...*, op. cit., s. 111.

⁸ Ibidem, s. 112.

⁹ Ibidem, s. 177.

«Było późno, – пишет она, – byliśmy sami, tylko we troje – i ja, jak Jan, słuchałam tych jego wyznań z zapartym oddechem. Bo czuło się poza tym ogromny zapas nie zużytkowanej jeszcze... siły, woli, potęgi nie dokonanego czynu. Jego dzisiejsza sytuacja, jego pozostanie na boku wobec odbywającej się nadal Polski, jego podjęta właśnie w ostatnich czasach walka, której jaskrawe formy odebrały mu wielu dawnych wyznawców – to nadawało owej chwili niezapomniany akcent tragizmu»¹⁰.

Любопытное продолжение политической темы нашло отражение в дневнике сразу же после отъезда Пилсудского. Во время визита Гожеховских у генерала Бербецкого выяснилось, что особого трагизма ситуации не было. У Пилсудского было достаточно власти, чтобы распорядиться судьбами и своих противников, и своих сторонников. Общество, в котором оказалась Налковская, было политически не однородным. Среди присутствующих оказался генерал Сапега – в 1919 г. один из организаторов покушения на Пилсудского. Пилсудский простил его в надежде превратить генерала в своего сторонника, но этого не случилось. В 1925 г. Сапега стал организатором монархической партии. Душой собравшихся был генерал-интеллектуалист Бербецкий, который в 1919 г. предотвратил покушение, правда, никаких наград за это он не получил, но остался критически настроенным к властям. Именно он комментировал ситуацию, сложившуюся в стране в 1915 г. Его высказывание Налковская воспроизвела следующим образом: «Sytuacja dzisiejsza jest dla inteligencji polskiej nie do zniesienia – i kończy się albo dyktaturą Piłsudskiego, albo dyktaturą króla». Оригинальной была реакция самой писательницы: «Milczałam sobie skromnie, słuchając tego wszystkiego i sądząc, że może się jednak zdarzyć coś trzeciego. Wczoraj bowiem, pisząc tę moją rzecz o Szwajcarii¹¹, umieściłam tam takie zdanie: jeżeli «bogowie chcą pić» sto lat temu, to to jest dobrze, jeżeli «bogowie chcą pić» dzisiaj, to to jest źle»¹².

В дневниках нет записей, которые помогли бы пролить свет на отношение Налковской к задушевному монологу Пилсудского, но есть откровенно критические её высказывания о человеческих слабостях «начальника страны», когда на съезде легионеров он появился буквально «залепленным орденами», но она всегда высоко ценила его политическую деятельность и умение предвидеть события. Еще в 1918 г. Налковская писала: «Piłsudski sam wobec własnego stanowiska dokonał niejako zamachu stanu... by nowy przewrót z interwencją Niemiec i Rosji był zbyteczny»¹³.

Пилсудского Налковская встречала много раз, и каждая новая встреча открывала тайны его характера, деятельности, отношений к людям, ситуации в стране и т.д. Однако совсем иным он оказался в их доме. Дневниковая запись от 2 сентября 1925 г. представляет собой своеобразное эссе – психологический портрет «великого человека», великого и в своих слабостях, и в своих деяниях.

«Nie można przy nim żyć inaczej niż przez niego – nawet protestując, nawet broniąc się – jest się zawsze w jego płaszczyźnie. Napięcie jego życia jest tak wielkie,

¹⁰ Ibidem, s. 178.

¹¹ Речь идет о романе «Choucas», который Налковская писала в Гродно.

¹² Z. Nałkowska, *Dzienniki 1918–1929...*, op. cit., s. 179–180.

¹³ Ibidem, s. 143.

że traci się oddech... Twardy, szorstki, jaskrawy, paradoksalny, głęboki, sam będący całą swoją prawdą, czysty, jednolity i wszystko od góry do dołu, od zła, do dobra podnoszący do swego poziomu przez siłę»¹⁴.

Налковская также испытала на себе и силу духа, и обаяние Пилсудского, однако сохранила свое умение проникать в душевный мир собеседника, поэтому портретно-психологическая зарисовка его получилась художественно оригинальной. Писательнице удалось раскрыть сложность внутреннего мира этого человека и заглянуть в глубину его души.

Одной из важных сторон общественной деятельности Налковской в Гродно была её служба в «Патронате». С 1924 по 1926 г. писательница занималась опекой узников местной тюрьмы, вопреки воле мужа. Пожалуй, её кураторская деятельность и стала причиной семейных неурядиц и откровенно грубых выходов Гожеховского. Тюрьма много значила для Налковской. Как писательница она получила доступ к самому дну общества, к тем сторонам человеческого бытия, о которых раньше не имела представления. Тюрьме посвящена отдельная, так называемая «черная тетрадь» дневника, под названием «Тюрьма 1924–1926», возможно и поэтому, чтобы её легче было держать подальше от деспотичного мужа.

«Więzienie jest teraz niejako moim skarbem moralnym»¹⁵, писала Налковская.

Значение черной тетради огромно. В ней Налковская сохранила ценнейший материал о жизни людей, оказавшихся вне закона. Писательницу поразили чудовищные условия, в которых содержались узники.

«Ich życie tutaj daleko gorsze niż w katordze Dostojewskiego... Nikt nie uważa ich za «nieszczęśliwych», jak w tych wioskach syberyjskich, nikt się nimi nie interesuje. Uczułam zazdrość, czytając teraz znowu kawałek z *Martwego domu*... Tutaj skazanie na parę lat jest tym samym, co wyrok śmierci»¹⁶.

В дневниках представлена галерея заключенных и, как оказалось, далеко не все были нарушителями закона. Налковская описала судьбу каждого с документальной тщательностью и показала, что большинство из вверенных её опеке были хорошими людьми. Она увидела, что тюрьма меняет не только внешность, но и психологию человека, превращая его в заключенного, лишённого возможности быть свободным. Философия Налковской имела гуманный характер: она считала, что узники взяли на себя «тяжесть зла», а она должна быть распределена между всеми членами общества. Более того, писательница была свидетельницей многих человеческих трагедий, разыгравшихся по вине блюстителей закона – представителей администрации гродненской тюрьмы.

В дневнике представлена своеобразная «классификация» несправедливо осужденных. В отдельную группу писательница относит «политических» заключенных, среди которых были люди, ставшие на путь политического протеста по убеждению. Это были люди, к которым она выражала свое уважение и в дневнике, пока они жили, не называла их фамилий. Налковская рассказывает о группе осужденных, так называемых партизанах, которых

¹⁴ Ibidem, s. 174–175.

¹⁵ Ibidem, s. 146.

¹⁶ Ibidem, s. 141.

регулярно избивали и не рассматривали их вопроса, но заставляли подписывать вместо показаний листы чистой бумаги. Судьба каждого из них описана в дневнике. К сожалению, большинство не выдержало пыток и умерло. И лишь после их смерти Налковская назвала их фамилии. Большинство заключенных с клеймом «политический» попало в тюрьму из-за фальшивых доносов. Историю одного из них по фамилии Кужидло писательница показала очень подробно: начиная от изменений внешнего вида, когда лицо человека менялось после каждого допроса, на нем появлялись синяки и кровоподтеки, затем он пришел без зубов и, наконец сказал, что умирает, потому что у него на допросе отбили легкие. «Патронату» понадобились огромные усилия, чтобы добиться отмены приговора и освобождения Кужидло. Налковская описала, как «три куратора окружили его заботой», осмотрели купе поезда, в котором он с сестрой уезжал домой. Однако через несколько дней пришло от сестры письмо: «Уважаемые господа! Я сердечно благодарю за память о моем брате, но он умер на пятый день после освобождения»¹⁷.

Налковская особо подчеркнула, что многих людей напуть протест толкнули представители власти. Один из них – белорус, – сообщает писательница, – уже заканчивает четырехлетний срок наказания. Сидит в одиночной камере – молодой, но уже седой, ласковый, мило улыбающийся, вежливый. И вот что он сказал мне с милой улыбкой: «Я сижу без вины, потому что в партии не состоял. Но когда выйду отсюда, вступлю в нее обязательно»¹⁸.

Налковская показала и настоящих преступников – казнокрадов, воров, взяточников, которые, справедливо оказавшись в тюрьме, пытались «приписать» себя к политическим заключенным. Об одном из таких, выдававших себя за князя Гедройця, она рассказала: «...таким сразу не хочется верить, к ним утрачиваешь доверие с первого слова... и нужно твердо владеть собой, чтобы не высказать им своей гадливости»¹⁹.

Большинство заключенных, которые пребывали в тюрьме якобы за бытовые преступления, как выяснила Налковская, оказались в действительности невиновными. Особенно трагичной была судьба Елены, осужденной вместе с мужем на десять лет по подозрению в убийстве, которого они не совершали. Муж не выдержал пыток и повесился в камере. Елена переживала, т.к. на воле осталось трое маленьких детей. О ней писательница говорит сочувственно: «Она [Елена] мила, ласкова, ходит стирать к тюремным чиновникам, хотя у нее большое сердце, она не может сидеть без работы. Даже надзиратели не считают её виноватой»²⁰.

Налковская сочла драматически абсурдной историю трех белорусских крестьянок, которые пришли на базар в Гродно продавать ягоды и яйца, но попали в облаву и были обвинены в воровстве полотна. Описание выдержано в духе и стиле гротескно-драматической миниатюры.

«Они ничего не понимают, – читаем запись от 20 июля 1924 г., – не знают, объясняют, говорят, но трудно было что-либо понять. Одна из них на шестом

¹⁷ Ibidem, s. 178.

¹⁸ Ibidem, s. 138.

¹⁹ Ibidem, s. 129.

²⁰ Ibidem, s. 189–190.

месяце беременности с красным опухшим от побоев лицом, другая, старая, которую избивали до тех пор, пока она «не призналась».

Любопытно объяснение инспектора, сказавшего Налковской: «Ничего им не будет, посадят пару месяцев и, если окажется, что вы не виноваты [это относилось к узникам: объяснение мое: С. М.], то вас отпустят».

Далее писательница воспроизводит рассказ коменданта полиции Мацеевского о том, как он добывается «признания» от заключенных граждан.

«Побои, – говорит он, – естественно, запрещены. Однако в отдельных редких случаях в отношении преступников нет другого способа... Я сам бил... ребром ладони в область уха, чтобы остановить прилив крови и тогда надо задать вопрос. Ответ будет иным, чем без битья»²¹.

Из всех опекаемых членами «Патроната» заключенных настоящих преступников было только двое – супруги Лоньские, судьба которых описана в сборнике рассказов о тюрьме «Стены мира». Эти люди были по-своему талантливы, но талант использовали во зло – выдумывали изощренные преступления и держали в страхе весь город. Оба были приговорены к высшей мере.

Размышляя о судьбах узников, Налковская понимала и свою причастность к их трагедиям, и невозможность «Патроната» что-то изменить и помочь этим людям. «Тюрьма, – писала она, – это максимальная конденсация стремления к свободе... Стены наполнены надеждами на побег.

Это стоит между нами и ними. Зачем приходим мы, если не можем им помочь в самом важном. Без него всё теряет смысл»²².

Переживания писательницы были связаны с утратой надежды на возможность улучшения жизни заключенных. Ведь это она вместе со Стефанией Семполовской и группой гродненских общественных деятелей создавала «Патронат». Среди её соратников были судья Адольф Матусевич, юристы Антоний Жабоклицкий, Станислав Земак, Винценты Фюрстенберг, общественная деятельница Флорентина де Вирион, врач Клавдия Оттович-Станьская, известный адвокат Тадеуш Врублевский. В 20-е гг. это была интеллектуальная элита города, ставшая на защиту обездоленных людей. Благодаря их деятельности страна узнала о жестокости тюремного режима, который стал одной из главных тем творчества Зофьи Налковской и был главной причиной распада её семьи. Муж писательницы – жандармский полковник не мог простить ей деятельности в «Патронате».

«Когда в конце апреля я уезжала из Гродно в Варшаву, – писала Налковская, – то была в состоянии крайнего отчаяния. Вокруг меня расцветала жизнь, а самый близкий человек, когда я тонула и цеплялась за край берега, тяжелыми сапогами наступал мне на пальцы, чтобы я упала... Я не хочу возвращаться туда, где всё противоречит моим ценностям, где всё толкает меня к смерти»²³.

И всё же... вернуться в Гродно Налковской пришлось еще дважды. 19 января 1927 г. она описала свою, как ей казалось, последнюю поездку в Гродно: «Две недели была в Гродно. Я завершила свою жизнь там... Я оказалась на

²¹ Ibidem, s. 138.

²² Ibidem, s. 129.

²³ Ibidem, s. 189–190.

удивительном распутье, так как должна быть немного здесь, немного там – и весь этот год... прошел в неразберихе и душевном разладе. Моё последнее пребывание в Гродно подтвердило мою абсолютную правоту. Это были постоянные ограничения моей жизни... хотя я чувствую себя эмоционально солидарной и связанной с Яном. И всё же, какая грустная и трудная эта любовь, полная мрачности, претензий и издавна не дающая никому из нас счастья»²⁴.

Трудно и даже болезненно переживала писательница свой отъезд и разрыв с мужем. Надо сказать, что формального развода не было. Более того, они оба предприняли несколько попыток возобновить семейные отношения, но сохранить брак так и не удалось.

Последний приезд Налковской в Гродно состоялся в октябре 1929 г. Она была приглашена на открытие памятника Элизе Ожешко как член правления польской секции ПЕН-клуба и член правления Союза польских писателей. И хотя Налковская по понятным причинам боялась этой поездки, но и отказаться от неё не могла. Она присутствовала на торжестве открытия памятника, произнесла краткую, но очень эмоциональную речь, написала статью о творчестве своей великой предшественницы и оказалась и в центре внимания, и в центре событий.

«Я гордилась собой, – читаем в дневнике от 23 октября 1929 г., – потому что сумела заставить себя после многих лет впервые выступить публично. И это там, на том самом месте, где несколько лет я прожила тихо и незаметно, в пренебрежении и печали. И вдруг я стала смелой, уверенной в себе, веселой, вдруг я всем стала нравиться, слышать комплименты, ловить «глазами русалки» восхищенные взгляды... После открытия памятника... раут в Старом замке ... Мне было так хорошо... Солнечная осень, желтые и красные листья за окном, очарование природой... И несмотря на воспоминания, нет ни печали, ни грусти, ощущение муки осталось в прошлом, а теперь я свободна и счастлива»²⁵.

Воспроизведя свое душевное состояние, Налковская не только «прощалась» с прошлым, но и подводила своеобразный психологический итог своей семейной и творческой жизни в Гродно. Ей казалось, что это прошлое осталось за гранью времени, но всё оказалось сложнее: Гродно осталось и в душе, и в творчестве писательницы до конца жизни. Удивительным свидетельством этого является дневник гродненского периода.

– Гродно, несомненно, было серьезным психологическим испытанием для известной писательницы, – но именно Гродно изменило принципы её творчества;

– благодаря Гродно Налковская узнала мир «маленького человека», поняла тяжесть его жизни и его страдания;

– в Гродно писательница вела большую и важную общественную работу – курировала заключенных местной тюрьмы;

– тема тюрьмы, проблема страданий узников и несовершенства правовых норм в Польше стала одной из важных в творчестве Налковской;

– Налковская посвятила Гродно лучшие страницы своего творчества, основой которого стал дневник писательницы гродненского периода.

²⁴ Ibidem, s. 229.

²⁵ Ibidem, s. 432.

Hrodna in Zofia Nałkowska's Diaries

Abstract

The article concerns the Grodno/Hrodna period of Nałkowska's life. She introduced Hrodna to the pages of best works: "Ściany świata", "Niedobra miłość", "Granica", and "Węzły życia". The writer's five-year stay in the Neman river region enriched her works, the source of which was her diary. It became an important document of the epoch, in which the author is both the narrator and the main character.

In her diary, Nałkowska reveals the secrets of her private life, and at the same time shows the provincial world and her social work, taking care of prisoners in the local prison; she also devotes a lot of attention to the local people. She tries to understand why her predecessor, Eliza Orzeszkowa, did not want to leave the place. Considerable attention is also paid to Józef Piłsudski's visit in her home: the writer was fascinated by Piłsudski both as an interesting personality, and as a distinguished politician.